

ЮРИЙ ПОМОЗОВ

Ветры
сравнитель



ЮРИЙ ПОМОЗОВ

Ветры
и
странствий

ПОВЕСТИ
О
ПУТЕШЕСТВИЯХ



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 1986

ББК 84Р7

П 55

Художник Игорь Урусов

Помозов Ю.

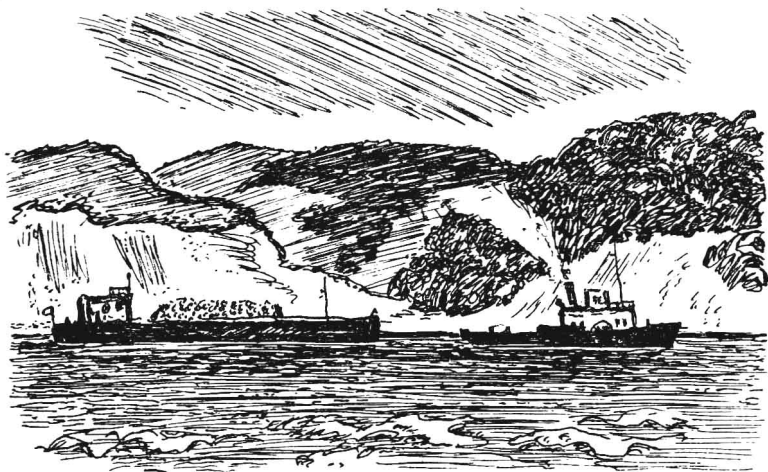
П-55 Ветры странствий: Повести о путешествиях.— Л.:
Сов. писатель, 1986.— 608 с.

Вошедшие в книгу повести ленинградского писателя Юрия Помозова широко отражают жизнь нашей страны в трудные послевоенные годы. Герои повестей — советские люди, которые возрождают усыхающую речушку Цну на Тамбовщине, осушают полесские хляби, возводят гидроэлектростанции на Волге и Днепре, «строят» моря, подобные Цимлянскому.

П $\frac{4702010200-257}{083(02)-86}$ 110—86

ББК 84Р7

© Издательство «Советский писатель», 1986 г.



ВПЕРВЫЕ НА ВОЛГЕ

ОТПЛЫТИЕ

Итак, свершилось! Я в Калининне — бывшей Твери и скоро увижу ее, Волгу, — дивную мечту моих детских лет, моей юности!..

По выбитой мостовой в сплошных одуванчиках, среди бескрайних пустырей и одиноких утесов отстроенных зданий, в завихрениях каменно-известковой пыли и под сочный, прямо-таки капустный хруст свежей щепы под ногами, я иду, спешу к Волге, будто на первое в жизни свидание с любимой.

И вот уже на катере-перевозчике я плыву поперек реки на левый берег к Стрелке, округло оглаженной струями самой Волги и впадающей в нее Тверцы. А там привалился к дебаркадеру и натужно клокочет, сипит паром пассажирский пароход с лихо заломленной трубой на верхней открытой палубе, с виду приземистый, осадистый, с каютами в единственном нижнем этаже, зато с боков широкий, точно бы раздутый собственной силой, с красноватыми колесами в плоских плицах-дощечках под дужисто-выпуклыми металлическими кожухами, которые, право, подобны чудовищным мускулам.

Название парохода я еще издали устанавливаю... по ведам, выстроенным, как солдаты, в одну шеренгу на верхней палубе;

на каждом таком ведре — по крупной синей букве, и все они складываются в протяжное, раздольное слово — «Чернышевский».

Дует верховой ветер, пощелкивает голубым флагом за кормой. Мои пальцы невольно цепко сжимают билет. С ним я вступаю на гибкие сходни и не без горделивой торжественности прохожу мимо дежурного матроса на пароход, а там уже, как бы вдруг ощутив свободу и полную отрешенность от всех земных тревог, поднимаюсь... нет, будто на крыльях взлетаю по крутой лестнице на палубу и плавно опускаюсь на решетчатую скамью, приятно прохладную, даже вроде бы липкую от речной сырости.

В семь часов вечера — отплытие. Бедовая труба изрыгает чернущие клубы дыма, словно хочет заляпать ими все белоснежные облачка в девственной синеве, а плицы колес начинают яростно бить по воде.

Незабываемые минуты! Развернувшись на стрежне, пароход как бы отдается во власть тихого, но упорного течения Волги, и ты уже будто бы не слышишь колесных шлепков, не замечаешь мрачного, тягучего дыма за кормой, — ты смотришь только вперед, в вечеряющий ясный простор, откуда вместе с ласковым веянием речной свежести выплывают, сами легкие как дыхание, зеленокудрые берега и незримо обнимают и реку, и тебя, чтобы уже никогда не выпустить из своего доброго плена...

НА ВЕРХНЕЙ ПАЛУБЕ

Еще со школьных лет я усвоил непреложное географическое правило, будто левый берег Волги обязательно должен быть низменным, луговым, а правый — непременно высоким, нагорным.

Но оказалось, что здесь, на верхнем плесе, вовсе нет такой строгой разграниченности у волжских берегов: то, глядишь, пестроцветный луг подобно богатому платку расстелется на правобережье, то, смотришь, сосновый бор хмурой тучей осядет на левобережном крутояре и бросит в воду беспросветную тень...

В общем, у здешней тверской Волги, как у своевольной молодницы, еще не определился характер; она словно бы играет берегами ради забавушки, петляет среди них прихотливо, и ей, изменчивой, ничего не стоит приблизить к себе какую-нибудь деревушку-любимицу, а другую, немилую, отпугнуть подальше вдруг взывавшей разгневанной волной.

Я люблюсь Волгой-баловницей; меня особенно волнует ласковая пора предвечерья на речном просторе.

Пусть еще звездочкой отсвечивает в прощальном луче солнца позолоченный купол невидимой церквушки, пусть еще суетливы ласточки у песчаного среза ноздреватого, в гнездах, берега, пусть опухнет палубу душистым теплом скошенных трав, но уже курчавится парной туман над торфяной низиной, уже полосуют колхозные нивы лиловые тени от лесов, от взгорков, уже тягуче поскрипывают в медовом разнотравье коростели-дергачи, а на речных излуках начинают помаргивать первые огоньки бакенов...

Эх, раствориться бы хотя на миг в слитном мире небес, лесов и вод, унести бы с криком птицы в незнаемую даль! Однако — рядом люди. Небольшая верхняя палуба сроднила их, перенастроила, стала вместилищем человеческих радостей и горестей.

— Да, земляк-кимряк, достал я все-таки туфли своей племяше! Всеми правдами-неправдами, а достал... Бог мне судья!.. А то заладила Марусенька: «Не выйду замуж без новых туфель! Уж лучше в старых девах просижу при своей бедности-стыдобушке!»

Это верещит старичок с красным личиком, точно обваренным кипятком, зато с глазками голубыми, влажными, какими-то текучими, и на коленях его покоится картонная коробка, в которую клещевато вцепились костистые пальцы.

— Ну, а как же тогда насчет чувства? — язвит сосед, угрюмый дядя с шершавым, как варежка, лицом.

— Чувства чувствами, а туфли туфлями! — частит краснолицый старичок. — Да и какие тут чувствования? Молодухи наши ух как по мужикам истомились за войну-то! Они без всяких воздыханий-нежностей сойдутся-слябятся с каким ни есть покалеченным солдатиком. Лишь бы главное орудье у него не было перебито!

— Ха-ха-ха! — взрывается смехом парень со сплюснутым лбом, с тупым, вроде пятки, подбородком и тут же ради озорства-веселья рвет от плеча до плеча мехи своей гармошки. — Ох, и даешь ты, отец! — не умолкает он под всхлипы, стоны басов. — Ха-ха-ха!

Краснолицый старичок словно брызжет из глаз влажной искристой голубизной в гармониста, поучает с подмигом:

— Ты бы, паря, чем тоготать похабно, непотребно, сыграл бы плясовую по случаю моей большущей удачи!

Гармонист, склонив голову, сейчас же рассыпает певучую, подзадоривающую дробь. Старичок вскакивает с лавки, прямой как штык, и пускается в пляс с картонной коробкой в обнимку, выбивает чечетку драными сапогами, обкрученными проволокой, выкрикивает бесшабашно — сам превеликий озорник:

— И-их!.. У-ух!.. Кличет курочку петух. Мол, давай поквохчемся и потом потопчемся!

Солнце садится. Лиловые тени сразу сползаются к Волге и притемняют ее; а следом за ними натекает белесый туман с низин, размывает кусты, деревья, избы... Лишь только белая Городинская церковь смело, открыто выходит на крутой берег и всей своей дивной былинной стройностью отражается в парчово-темной глади речного потока, как, быть может, она отражалась столетия назад — нерушимая, заповедная.

И я невольно думаю о притягательной красоте великой русской реки, о том, какие ратные побоища вскипали на ее берегах, о шеломках, которыми черпали воду древние витязи и вмиг исцелялись от жажды и жгучих ран, о тревожном ржании коней с пустыми седлами, о сытом воронье на поле брани...

Резкий мальчишеский голос прерывает мои мысли:

— Дяденька, погляди, погляди! Вон над нами ястребок кружит, а позади-то у него не то веревка, не то ленточка... Отчего бы это?

Небо еще в зоревых отсветах, с подрумяненными облачками, и я вижу четкий силуэт хищной птицы, но никакой ленточки не замечаю: наверно, не те у меня глаза — не зоркие, не волгарские.

— Нет, ты скажи, дяденька, откуда привязка взялась у ястреба? — настойчиво умоляет мальчишеский голосок; а ему отвечает кто-то тягуче, неохотно и даже вроде бы языком проталкивает вязнувшие в зубах слова:

— На ястреба, смекай, охотились... У гнезда ловушку устроили... Из веревки с петлей... А ястреб вырвался!.. Оттого и обрывок на ноге... И пусть живет, летает!.. Каждое существо жить хочет!.. Особливо кто во вражьей петле побывал... В окружении, стало быть...

Померкли облака. Навстречу веет сумраком, сырым холодком. А позади, за кормой, пароходный дым распластывается над рекой, уже сливается с ней, серенькой, дремотной. И туда же, за корму, сносит голоса, весь палубный сор...

Вдруг раздаются снизу въедливые, отчетистые звуки, как если бы кто деревянным молоточком постукивал. Это поднимается по лестнице на палубу еще один пассажир. Сначала видно его бледное лицо с угольной темнотой провалных глаз, затем показываются узенькие плечи, обтянутые солдатской гимнастеркой с медалью за Будапешт, с нашивками ранений, и, наконец, вслед за правой ногой в сморщенном кирзовом сапоге выставляется обрубок ноги с подвернутой и заколотой штаниной, который покоится в седловине деревянного костыля-обрубыша...

Как сейчас вижу я палубу неказистого колесного пароходика — крошечную палубу, где, однако, удалось мне, вместе

с речным ветерком, уловить и дыхание волжской жизни, а быть может, и вообще жизни, характерной для того нелегкого послевоенного года.

КТО ЕЕ ПОЖАЛЕЕТ?

Ночь близилась...

Уже не берега, а кажется, непроглядные толщи тьмы сдавливали Волгу.

Редкие бакены нехотя перемигивались со звездами.

Над опустелой палубой бесшумно, напористо лился поток сырого воздуха. Одиноким фонарь освещал только меня, озябшего, да женщину на противоположной лавке, около трубы, откуда изредка вылетали мохнатые искры.

Какое-то непонятное упорство овладело мною, несмотря на вороватые холодные струйки, шнырявшие под пиджаком. Мне словно бы хотелось пересидеть женщину на беззащитной, неприютной палубе. Но и она как будто не хотела уступать первенства в упорном, стоическом сидении.

— Что ж вы вниз не сойдете? — спросил я с плохо скрытой самолюбивой досадой. — Так и простыть не жалко.

— А там душно, в третьем классе, — отвечала женщина распевно, по-волжски. — Да там-то, чай, и головушку негде приклонить.

У фонаря толклись мотыльки, притемняли свет, без того скудный. Я лишь видел расплывчато-бледное лицо, слитную черноту бровей и глаз да влажный выблеск зубов из-под приоткрытой верхней губы.

— Куда едете? — поинтересовался я как бы уже на правах знакомого.

— В Ярославль, к сестре, — охотно, с прежней распевностью отвечала женщина. — Ведь я кто теперь? Бездомница... Осела земля под крутиком, дом пополз в реку... Я в страхе выбежала... Только и успела прихватить кое-какое бельишко...

Руки ее были засунуты в рукава жакета, и она коленями сжимала тощий узелок.

— Ишь, что наделал проклятый оползень! — посочувствовал я. — Как же вы теперь без дома, без хозяйства?

— Была бы сама живехонькой, а добро наживется. — Женщина помолчала и вдруг прибавила со скорбным вздохом: — И добра никакого не надобно... Зачем?.. Овдовела я в войну и сыночка одного-единственного лишилась... Не в радость жизнь...

Справа, на песчаной отмели, под обрывистым берегом, трепыхал костер; близ него топтались двое в резиновых сапогах,

в ватниках, — наверно, продрогшие рыбаки, — и длинные тени их стоймя взлетали по крутому скату, сливались с ночным мраком.

— А ты бы, сынок, подсаживался ко мне... Вдвоем-то согреем.

Как неожиданно, с каким материнским сердобольством прозвучал голос женщины! Сколько избыточно-доброе, лучистое света вдруг хлынуло из ее темных, оживших глаз! И будто теплая, ласковая волна подхватила мое зябкое тело и перенесла его на противоположную решетчатую скамью. И тотчас же я ощутил податливо-мягкое, жаркое плечо и доверчиво, по-ребячьи, прижался к нему.

— Вот так-то лучше будет, — одобрила женщина с кроткой улыбкой. — А теперь приклони головушку и подремли часок-другой.

...Когда я открыл глаза — пароход покачивался у пристани «Большая Волга», близ Ивановской плотины, на самом краю Московского водохранилища.

В сером предрассветном небе дотаивала одна половина луны, а другая, точно бы отколотая, лежала на воде, и острая рябь дробила ее на множество медных бликов-пятков, которые сталкивались между собой и, казалось, вызванивали.

Я нехотя отклонил голову от заботливого плеча соседки; мягкий шелк ее теплых волос скользнул по моим щекам...

«Русская женщина! — помню, подумалось мне тогда с сострадательной нежностью. — Она пожалела меня, иззябшего. Она могла бы приголубить, выходить и того безногого воина с медалью за Будапешт. Она всех несчастных, обездоленных пригрела бы своим любвеобильным материнским сердцем. Но кто ее-то саму пожалеет, приголубит?..»

КЛЕТИНСКИЙ БОР, КИМРЫ, КАЛЯЗИН...

«Чернышевский» зашел в бетонный колодец шлюза, опустил в него на добрый десяток метров — и вот уже плывут мимо струнно-прямые, гладкие берега, о которые мелодично вызванивают разбежистые волны от пароходных колес.

Солнце упрямо лезет в неомраченную голубизну небес — купаться; а чтобы реке не было обидно — дарит ей множество искрящихся улыбок.

Сосновые леса отчужденно теснятся в отдалении — этикие синевато-темные застывшие валы. Наконец высылают они к Волге разведчика — Клетинский бор; а он раскрылился тучей и висит, зачарованный, над зеркальной поверхностью, ласково притемняя ее.

За крутой излучкой — Кимры на левом, опять же высоком берегу, в укор географическому учебнику; и спят эти Кимры не золоченой луковкой обязательной церквушки — ослепляют сиянием окон нового здания.

Ах, Кимры, Кимры! Мог ли я тогда, при первом своем беглом путешествии, знать, что живет здесь в бревенчатом доме, вблизи речки Кимерки, бывший кустарь-сапожник Макар Рыбаков и пишет с усердием мудрого летописца эпопею о собратях кустарях, мятежных духом, — об этих великих умельцах по выделке самой разнообразной обуви, вплоть до сапога-исполина в метр высотой!..

А берега все меняются — медленно, но неуклонно, вызывая грустное сожаление о необратимости речного потока и времени. И хочется ногами утвердиться на земле — не на палубе; хочется пристальным, вдумчивым взглядом задержать незнакомую жизнь на берегах и зажить ею, чтобы стать своим среди людей, а не только путешественником-отпускником, верхоглядом.

Но неудержима река и обаятельна власть этих наплывающих, вечно изменчивых берегов. Они постоянно сулят впереди какие-то новые откровения и почти никогда не обманывают.

В самом деле! Вон впереди словно бы вздулась Волга, сделала могучие росплески на обе стороны. Все дальние домишки на правобережье поспешно карабкаются вверх по крутосклону, налезая друг на друга в трусливом бегстве. Одной лишь колокольне не удалось спастись — и стоит она, молитвенно-тихая, как бы уже примиренная, посреди разливий рукотворного Угличского моря.

Тó был городок Калязин, выглядевший особенно дряхлым, стареньким на виду у полноводной, омоложенной Волги. Но и старенький, он показался мне особенно дорогим в своей трогательной беззащитности. Вдруг подумалось: быть может, потому и уцелел он со своей колоколенкой, что тысячи и тысячи советских воинов полегли в заснеженных полях под Москвой и Ленинградом, чтобы защитить самую сердцевину России!

НЕОЖИДАННАЯ ПОЩЕЧИНА

Углич встретил меня гулом спускной воды на плотине, трескучими раскатами грома — и куполами, куполами бесчисленных соборов и церквей!

На пристани я узнал, что пароход «Чернышевский» простоит часа три, пока не загрузится пивными бочками и тюками с шерстью, и решил познакомиться с достолавным городком.

После зыбкой палубы особенно приятно было ощутить надежную твердость земли. Я поднялся по деревянной лестнице на травянистый откос, купил в киоске местную газету «Коллективный труд» и осмотрелся в надежде увидеть свободное место на скамейках, чтобы предаться спокойному чтению под благодатной сенью лип прибрежного сквера.

Увы, все скамейки были заняты. Впрочем, на одной, самой ближней, лежал мужичок, похрапывая и посвистывая. Но благодаря его поджатым ногам на краю скамейки образовалось свободное пространство; там я и притулился.

Свежий номер угличской газеты как бы специально был приурочен к моему приезду, дабы я, любопытствующий путешественник, мог сразу же, без долгих розысков, составить мнение о горожанах. В своей передовой газета вдохновенно, с законной гордостью, без всякого квасного патриотизма, славила доблестных угличан:

«Это они до последнего дыхания защищали русскую землю от татар, шведов, поляков и достойно отвечали иноземцам-захватчикам на все их коварные посулы: «Милостей ваших не хотим, угроз ваших не боимся!» Это они были в первых рядах отважной рати Дмитрия Донского на поле Куликовом! Они по первому кличу явились в ополчение Минина и Пожарского! Они отдали семьсот прекрасных жизней в борьбе с царским самодержавием! Они дали Родине в годы Великой Отечественной войны трех Героев Советского Союза! А на мирном поприще кто как не они построили лучший в стране часовой завод и придали новые вкусовые качества всесветно известным угличским сырам!»

Помню, при чтении меня особенно поразило, что Углич истреблялся врагом и «бедственно угасал» шесть раз, что во время нашествия поляков в сгоревшем городе осталось в живых триста пятьдесят женщин, но и те, укрывшись в Богоявленском монастыре, сопротивлялись до конца, до последнего человека...

Конечно же, прочитав передовую, я уже на всех проходивших мимо женщин (кстати, миловидных, иконописно-строгих) словно бы улавливал отсвет былинного мужества их многострадальных предков; да и на того же похрапывающего соседа я отныне взирал чуть ли не с благоговением: «Ишь ведь как умирался бедняга от трудов праведных! Должно быть, за ночную смену на знаменитом часовом заводе две нормы выполнил!»

Между тем начал я примечать, что и моя особа привлекает внимание кое-кого. На отдаленной скамейке, метрах в десяти от меня, сидели, по-ухарски развалясь, двое: щуплый белобрысый парень в кепке с крохотным козырьком и мордастый, с грубыми

складками на щеках, мужчина в стеганой тюбетейке. Оба они бросали на меня грозные взгляды и отрывисто переговаривались.

Это настораживало. Инстинкт мне подсказывал, что следовало бы подняться и уйти, но в то же время удерживала самолюбивая гордость: мы, мол, не из пугливых! И я продолжал сидеть, сам уже развалиясь по-ухарски, точно вызов бросая двум приятелям-заговорщикам.

Они, видимо, были раздражены моим независимым видом. Мордастый, в стеганой тюбетейке, вдруг вскочил и подошел ко мне с какой-то быстрой, недоброй вкрадчивостью. Я услышал его горячее дыхание над собой. Мне хотелось сжаться, точно меня давила некая нависшая угроза. Но я, опять же из самолюбивой гордости, вскинул голову. И в ту же секунду (как раз под трескучий удар грома) шершавая, точно наждак, ладонь хлестнула по моей щеке.

— Ты зачем подсел к нашему дружку? Зачем прикрылся газетой? — услышал я зловещий шепот. — Обчистить хочешь?

Щека моя горела, но куда сильнее палила обида.

— Чего выдумываете? — выкрикнул я. — Может, это вы сами хотели обчистить, да я помешал?

Обидчик мой, кажется, не ожидал такого отпора. Погрозив мне кулаком — не в открытую, а исподтишка, — он отошел поспешно...

Все же я поднялся со скамейки с каким-то саднящим чувством внутренней неловкости. Было неприятно, что двое из угличан заподозрили меня в злом умысле. Я невольно перенес свою обиду и на всех горожан: не больно-то гостеприимны!

Чем можно было развеять эту незаслуженную обиду? Пожалуй, только хождением по незнакомому городу.

И я отправился в путь...

«НА ПОМОЩЬ! НА ПОМОЩЬ!»

Тенистый сквер привел меня в еще более затемненный и сумрачный городской сад.

Под ненастным ветром предгрозовья с тяжкими поскрипками покачивались столетние дубы и липы в мохнатых грачиных гнездах. Из широкошумной зелени — из этих земных клубящихся облаков — с какой-то дивной легкостью, будто бесплотные, возносились в просинь, к еще палящему солнцу, золоченные купола и маковки Спас-Преображенского собора, с бывшими хоромами угличских князей, и точно бы плавилась, истекая лучистым сиянием, точно просили вскинутыми крестами у небес высшей милости — охлаждающего дождя-проливня.

Тут же, ближе к Волге, среди хоровода белоствольных березок, грустила в вековечной каменной думе, на том самом месте, где убили царевича Димитрия, церковь с блеклыми звездами на ржавых куполах; да и стены ее были в изъеденной, сыпучей штукатурке, с кровенящимся повсюду, как раны, кирпичом...

Невесело мне стало. Я поспешил выбраться из мрачного сада на улицу — тоже, впрочем, тенистую, зато с белыми двухэтажными домиками, которые с веселым любопытством выглядывали из зелени — и на кого же? На развороченную мостовую, на глубокую траншею, на новенькие блестящие трубы будущего водопровода.

А пока — вода хлынула с небес. Раздался такой низкий трескучий удар грома, что я поневоле присел. И тотчас же отвесные струи стрелами вонзились в землю. Вмиг расплеснулись, закипели пузырястые лужи. Я, оглушенный, измоченный, кинулся к ближайшему дому с раскрытой дверью... и очутился, по воле providения, там, где и положено быть любознательному путешественнику, — в библиотеке.

Худенькая женщина с восковым, монашеским лицом (она сидела за решетчатым барьером) строго посмотрела на мои брюки-трубочки, облепившие не хуже пластыря худые ноги, на задранные носки непомерно больших отцовских ботинок, с которых срывались капли и вмиг превращались на пыльном полу в подобие ртутных шариков. Но я не дрогнул под строгим, едва ли не инквизиторским взглядом библиотекарки. Я сейчас же попросил ее дать мне, приезжему, почитать какую-нибудь редкостную книгу по истории Углича. Она сразу заулыбалась, похорошела — и предложила мне книгу Ф. Кисселя, изданную в 1844 году в Ярославле, довольно ветхую, с бледно-голубой обложкой, где неумолимое время стерло название.

Предварялось историческое сочинение трогательным предисловием деликатно-скромного автора:

«Да простит меня Критика и всякий читатель, что я писал Историю Углича не тем важным слогом, который приличен и достоин важности исторических истин. Да простится мне, что я редко указывал на источники, откуда что почерпал. Ибо предназначал я свою историю для угличан и посему не мог удержаться важного исторического слога, который показался бы для них сух и скучен».

Тем не менее я с трудом пробивался сквозь заслоны тяжеловесных слов к «историческим истинам» и был, признаюсь, очень обрадован, когда за умытыми окнами библиотеки ясно и бодро просияло солнце.

Ах, как приятно было выходить из сумрачной парадной в ослепляющее сияние почти сплошных луж, любоваться ра-

дужными переливами дождевых капель на сочных листьях, слышать за мокрыми дымящимися заборами звонкое петушиное пение!

Завечерело. Пора, кажется, было возвращаться на пристань. Но в конце улицы, взбегающей на холм, я вдруг увидел такое призывно-пламенное полыхание купола над верхушками деревьев, что поспешил выяснить: какая же церковь прячется там, в зелени?

Увы, меня постигло разочарование. Вблизи церковь выглядела заброшенной, захудалой; в узких ее оконцах не было ни стеклышка — ржавели одни решетчатые прутья. Из разохшихся входных дверей с увесистым замком веяло застойно-гниловатым запахом складского помещения.

Я хотел уже идти обратно, как вдруг услышал за спиной чьи-то вкрадчивые, скользящие шаги по каменным плитам в проросшей траве. Обернувшись, я к ужасу своему увидел мордастого мужчину в стеганой тюбетейке и белобрысого парня в кепке с крохотным козырьком.

Выходит, они выслеживали меня — и выследили-таки! Я весь похолодел и стоял, не в силах шевельнуться. Один мой затравленный взгляд метался в поисках спасения. Однако вокруг не было ни одного свидетеля — никого, кроме безмолвных деревьев.

— Ты что ж это, турист, мистер Твист,— заговорил со злой усмешкой мордастый,— решил теперь склад ограбить? Разве мало тебе того, что ты нашего дружка обчистил?

— Врете! — крикнул я.— Никого я не обчищал!

— А вот мы сейчас выясним это,— пообещал мордастый и подмигнул белобрысому.

Тот не спеша, с какой-то невинно-сатанинской улыбкой, приблизился ко мне — и вдруг схватил мою правую руку, вывернул ее, так что я невольно пригнулся рабски угодливо. Затем белобрысый ту же операцию проделал с моей левой рукой, да еще шепнул с нахальной вежливостью: «Прошу не рыпаться!»

От наклона, кажется, вся кровь прихлынула к моему лицу. Щеки мои горели стыдом унижения и позора. А это было нестерпимо. Это было сильнее страха. Я рванулся, закричал истошно:

— На помощь!.. На помощь!..

В тот же миг тяжелый, как гиря, кулак обрушился на мой затылок...

Когда я пришел в себя — вокруг уже никого не было. Рядом валялся растерзанный бумажник. Почти все мои отпускные

деньги исчезли. Грабители оставили только паспорт да пароходный билет, взятый мною в Калинин до Горького.

Что мне оставалось делать без гроша в кармане?..

Я ИЩУ И НАХОЖУ ВЫХОД

— Что делать, что делать? — вышептывал я точно в горячке, в то время как ноги в порыве отчаяния несли меня к пристани.

С Волги дул свежий, напористый ветер, охлаждал мою пылающую голову, и мысли мало-помалу утрачивали нервную взвинченность.

«Что же делать? Возвращаться в Ленинград или ехать дальше, до Горького, а уж оттуда — поездом, через Москву, домой? Однако где взять деньги на обратную дорогу?.. Ну ладно, предположим, я стану добираться на подножках или на крыше вагона. Но на какие гроши я буду питаться?..»

Хотя я был блокадником-многотерпцем, все же возможность голодания, да еще в мирное время, неприятно поразила меня. Мысли стали более целеустремленно работать в поисках выхода. И вот наступило озарение: «Надо продать билет на пристани! Тогда и деньги будут на обратный путь и на питание!»

Обрадованный, взбежал я по сходням на дебаркадер.

Пароход «Чернышевский» уже был загружен. Прозвучало два коротких предупредительных гудка; после третьего он должен отчалить. Приходилось спешить с продажей билета.

На мое счастье, оконце пассажирской кассы было наглухо захлопнуто, и очередь вытянулась длиннущая. Из множества унылых и недовольных лиц меня особенно поразило выражением презрительного спокойствия округлое, слегка скуластое лицо девушки. Но почему-то именно к ней я и обратился:

— Вам нужен билет до Горького?

— Вообще-то мне до Юрьевца надо, — произнесла она протяжным, томным голосом. — Но ладно, согдится и этот.

Получалось, будто не я, а она оказывала мне милость, соглашаясь купить билет. Но мне ли было возмущаться! Билет был продан за двадцать червонцев, которые девушка протянула с какой-то ленивой небрежностью и даже сдачи не потребовала.

О, это было неслыханное богатство для ограбленного до чиста путешественника!

Но странно, теперь, когда у меня имелись деньги на обратный путь и уже не было билета до Горького, в моем настроении произошел резкий поворот. Радость от, казалось бы, удачной

сделки вдруг сменилась тяжким недоумением. Как? Я уже не увижу ни Ярославля, ни Костромы, ни знаменитого нижегородского откоса, где, бывало, сиживал Алеша Пешков со своим литературным наставником Короленко, откуда оба мечтательно смотрели на леса Заволжья, на селение Бор с далекими дымками!..

Отступление от собственной цели показалось мне чересчур поспешным, трусливым. Я едва ли простил бы себе в будущем это малодушие. Да я уже и сейчас презирал себя! Следовательно, нужно было что-то предпринять, пока не поздно.

Едва девушка нагнулась с какой-то замедленной гибкостью, чтобы поднять свой чемодан, обтянутый черной клеенкой (явно самодельный чемодан), как я быстро подхватил его и понес к пароходному трапу.

— Ваш билет? — окликнул меня дежурный матрос в тельняшке.

— Он провожающий, — вступилась девушка, идя следом. — А билет — вот он!..

На пароходе было полным-полно народу. Одни из пассажиров сидели или лежали в проходах на пробковых поясах вблизи жаркого машинного отделения, другие предпочитали устроиться на собственных вещах. Я поневоле оказался вплотную с девушкой, но, конечно, не посетовал на эту нечаянную близость. Теперь, обретя достойное спокойствие от задуманного, я с интересом разглядывал скуластое девичье лицо с припухшими как бы после сна губами. Меня поразили ее глаза, туманно-серые, с поволокой, смотревшие куда-то мимо меня с усталым безразличием.

Тут раздалось подряд три коротких гудка; из капитанской рубки донеслось: «Отдать швартовы!» А я даже не шевельнулся, очень довольный своим хладнокровием.

— Что ж ты не сходишь? — обронила девушка.

— Да вот решил дальше ехать, до Горького, — отвечал я с беспечным видом, стараясь сойти за легкомысленного человека и тем самым оправдать перемену своего решения.

— Ну-ну!.. — Пухлые губы девушки дрогнули в уголках, но так ничего и не выразили — ни одобрительной улыбки, ни насмешливого осуждения. — Ты ловкач! И деньги за билет получил, и на пароходе едешь бесплатно.

Мне нравилась эта девушка — нравилась каким-то царственным спокойствием, ленивой томностью в движениях. И я не хотел, чтобы она думала обо мне плохо.

— Понимаешь ли, — шепнул я в ее ушко, прикрытое светлым

завитком волос.— Меня, понимаешь ли, обчистили до нитки в вашем Угличе.

— Почему же в моем? — Девушка столкнула у переносья пушистые брови, неожиданно темные, совсем иные, чем волосы.— Сама я юрьеveckая. Домой еду.

— Да, вот обчистили,— повторил я, немного задетый ее безразличием к своей обворованной особе.— Потому и решил продать билет и обратно в Ленинград вернуться. Однако передумал.

— Отчего передумал-то? — Она слегка скосила на меня серые, с поволокой, глаза.

Объяснять было долго, и я решил отделаться шуткой:

— Оттого и передумал, что тебя встретил.

Она пожала покатыми плечами; лицо ее оставалось непроницаемым... а быть может, давно уже усвоило выражение ленивого спокойствия.

Кто-то прошел мимо, задев меня локтем. Я покачнулся и невольно припал грудью к ее тугой, напружиненной груди, точно бы стремившейся оттолкнуть меня.

— Что ж, мы так и будем стоять? — проронила волжанка.

— А куда подашься в такой тесноте? — выразил я сомнения.— На палубе тоже, наверно, негде яблоку упасть...

— Нет, идем все же на палубу, под ветерок,— вздохнула она протяжно.— А то шибко взопрела я.

Но даже и это грубовато-откровенное признание прозвучало для меня мелодично, с чисто волжской распевностью.

Я взял чемодан и повел девушку к лестнице, которая вела на верхнюю палубу.

ПОЗНАКОМИЛИСЬ...

Не только на решетчатых лавках, но и прямо на затоптанном полу верхней палубы сидели и лежали пассажиры. Сурового вида матрос с мокрой шваброй был явно раздосадован невозможностью пустить ее в ход при таком столпотворении; он кому-то говорил ворчливо:

— Нехватка пароходов — вот и мается народ! Почитай, весь речной флот был стянут к Сталинграду, там и сгорел в огне побоища, прямо на глазах моих...

Нам, однако, удалось протиснуться к борту — мне и волжанке. И опять это была ошеломляющая и счастливая близость для меня, неискушенного парня. Я ощущал палящий зной ее сильного наливного плеча; меня до дрожи волновало каждое нечаянное прикосновение округло-твердого бедра, которое, на оборот, казалось мраморно-холодным.